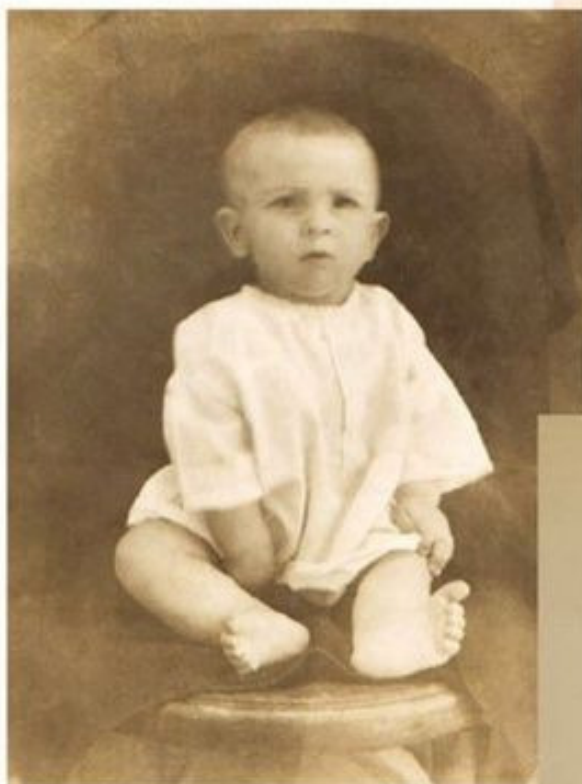


18+

Юрий Ивлиев

Эхо из прошлого

Воспоминания бывшего беспризорника



Юрий Ивлиев

**Эхо из прошлого. Воспоминания
бывшего беспризорника**

«Издательские решения»

Ивлиев Ю.

Эхо из прошлого. Воспоминания бывшего беспризорника /
Ю. Ивлиев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-904068-8

«Эхо из прошлого» — воспоминания детских лет и юности Ивлиева Юрия Ивановича. В том числе и страшного времени Сталинградской битвы, посреди которой он оказался десятилетним мальчишкой. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-904068-8

© Ивлиев Ю.
© Издательские решения

Содержание

Счастливое детство	7
Война	17
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Эхо из прошлого

Воспоминания бывшего беспризорника

Юрий Ивлиев

Редактор Иван Владимирович Лагунин

© Юрий Ивлиев, 2018

ISBN 978-5-4490-4068-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«...Чтобы вспомнить какими мы были
загляните в семейный альбом...»

На «Радио России» работает «Немецкая Волна». Очень навязчиво просят: «А что Вы думаете о Германии? О немцах? Может быть, Вы все еще вспоминаете войну? Или Вас привлекает наш образ жизни? А может в Вас вызывает восхищение наши „Мерседесы“? Напишите нам!»

И я написал им и послал. То, что я послал им, это в начале моих записей. Судите сами. А дальше просто то, что сохранила моя память. Разрозненные воспоминания, с примерной датировкой.

«Сталинград. Август. 1942-й г. Мама берет меня с собой, едем в повозке. Навстречу идут, едут, едут, идут. Бесконечная толпа людей, скота, повозок. Жара, ветра нет. Пыль висит плотной завесой, оседая на лица, на повозки, на спины волов, лошадей. У нас с мамой рты завязаны платками. Небо вылиняло, ни облачка, только маленькое жгучее солнце и пыль. По обочине идут стада, коровы опустили головы к земле. Все это скрипит, мычит, шелестит, наполняя воздух каким-то особым шебуршащим звуком. Кажется, что это поет сама пыль. Размеренный однообразный шорох. Вдруг размеренный ритм нарушается. Все приходит в беспорядочное движение, усиливается крик, и вопль превращается в громко кричащий общий рот – „ВОЗДУХ!“, появляются три самолета. Они идут углом, низко над толпой, над нами, и поливают дорогу свинцом. По земле прыгают фонтанчики пыли. Сделав три захода со стрельбой, самолеты пролетают последний раз с выключенными моторами, со зловещим свистом над растерзанной дорогой и скрываются за горизонтом. На земле валяются туши коров, лошадей, слышны человеческие стоны. Мне запомнилась женщина, лежащая на спине. Она раскинула руки и ноги, у нее вздымалась и опускалась грудь, пальцы рук сжимались в кулаки и разжимались, дергались ноги в конвульсиях. Головы не было, а из шеи текла черная кровь, образуя лужицу. Живые оттащили мертвых на обочину. Задние напирали на стоящих, объезжали их. Все снова пришло в движение. Снова скрип, шорох, пыль и жгучее солнце в зените».

«Сталинград. Октябрь. 1942-й год. (Или конец сентября). Нас, жителей Дар-Горы, немцы выгоняют из домов, собирают у кладбища и толпой гонят на Воропоново. Я потерялся от своей семьи и прибил к едва знакомой тете Соне. У нее на руках Санька, а за подол, ухватившись, семенит Файка. Ей семь лет, а Саньке месяцев шесть или восемь. Он все время орет. У тети Сони нет молока в груди. Она дает ему сисю, Санька чмокнет пару раз, выплюнет сисю и снова орет. Мы перешли за переезд, вышли за поселок, где-то между Воропоново и Рогачиком это было. Нам не дают ни еды, ни воды. А Санька все орет и орет. Медленно переступая ногами, сбоку идет здоровый немец-конвоир. Ему надоело, наверное, детским писк, он заходит в толпу, забирает у тети Сони Саньку. Отошел от дороги, бросил ребенка в кювет и наступил

на тельце ботинком. Санька перестал пищать. У тети Сони глаза стали огромные, страшные. Бабы только ахнули и подхватили тетю Соню под руки. Немец снял с плеча винтовку и зло крикнул:

– Вег, вег! Русише швайне!

Ночевать нас расположили в степи. Конвойные устроились у костра возле повозки и лошадей, в стороне от нашей толпы. Я тихонько в темноте уполз в сторону и ушел обратно в город, меня не поймали».

«Сталинград. Ноябрь или декабрь 1942-й год. Около угла кирпичной развалины стоит немецкая полевая кухня. Воронка от авиабомбы, в нее сливают помои. Я кормлюсь из этой ямы, собираю картофельные очистки, мослы, корки-отскребыши из котла. Откуда-то из-за кухни появился немец:

– О, Русише швайне... – и что-то еще, мне непонятное, крикнул он.

Появился второй с автоматом в руках и фотоаппаратом. Наставил на меня автомат и с улыбкой дал очередь. Я брюхом вжался в помои, а на меня посыпалась земля. Немец что-то сердито закричал. Я приподнялся и сел, глядя на них со страхом, а это им и было надо. Немец сделал несколько снимков, бросил мне в яму пару галет и они ушли за кухню. «Данке ШЕН, Фрицы». Я вылез из воронки и на трясущихся ногах уполз в свою нору».

«Сталинград. Апрель-май 1943-й год. Тюльпаны, тюльпаны! Тогда весной среди лома отгремевших боев было особенно буйной цветение степи. Всепобеждающее утверждение жизни над кровавой жестокостью человека. Понуро бредущая лошадка, качая головой и помахивая хвостом, лениво, на постромах, тащит к яме несколько вздувшихся трупов. Возле ямы ждут груз могильщики, мобилизованные пятнадцати-шестнадцатилетние девчужки и пареньки. Отцепив от крючьев мертвяков их сталкивали в ямы-воронки, траншеи, бункеры, все, что было вырыто в теле Матери-Земли. Все годилось для захоронения и заглаживания „оспин“ на ее лице. И красное море тюльпанов, колышущееся море тюльпанов!»

Вот это я и послал на «Немецкую Волну». В мае 43-го мне было десять лет. После этого стала просыпаться память, а в шестьдесят лет я начал что-то записывать, и после семи лет труда стало вырисовываться подобие детских «мемуаров». В годы войны мы дневников не писали, а память, память избирательная и, возможно, что что-то вспомнилось и не так, как было на самом деле.

В 1987-м году мне сослуживцы по работе подарили на день рождения годовой поквартальный еженедельник, подарочное издание с символом Сталинграда «Мамой Таней» на Мамаевом Кургане. Пролежал он у меня в книжном шкафу несколько лет – не было ему применения. На работе у меня двенадцатичасовая смена. Каждый час снимаешь показания приборов, сведения передаешь диспетчеру и снова целый час безделья. Читать надоедает, рукоделием не занимался. Перечитал я тогда массу мемуарной литературы о прошедшей войне, война та вошла в мою плоть и не вышла до нынешней поры. Сидит она во мне, проклятая, занозой. И хотя я перечитал много воспоминаний полководцев, политработников, героев тыла, но так и не нашел воспоминаний о детстве своих сверстников, а мы, дети войны, уходим, мы уже стали стариками и наш опыт тех дней уходит с нами безвозвратно.

Вот тогда-то я и решился записывать свои воспоминания о своем детстве в военные годы. Записывал все, что сохранила память, что пережил сам, и что слышал от своих сверстников в те, уже далекие, годы. А они, те рассказы, слились с моим, пережитым тогда, да так, что и отделить их одни от других уже невозможно. Оно, то время, наше общее, одно на всех. Жаль только то, что память мало отдает из своих тайников, а жизнь наша тогда не была однообразной, каждый прожитый день был событийным! Пытался записать от дня рождения и до выпуска из Ремесленного Училища. (1933 – 1950 гг.)

Счастливое детство

Родился я 11-го января 1933-го года в станице Вознесенской, Семиреченского Войска Казачьего, но к моменту моего рождения данное административное наименование было уже упразднено и именовалось, как село Вознесенка, Джувальинского района, Сыр-Дарьинского округа Казахской ССР. Мамуля моя – Волжская Казачка, Астраханка. Батюшка мой относил себя к Уральским Казакам. Всю же жизнь свою я прожил на землях Донского Казачества. Смесь получилась взрывоопасная, но что получилось – то и получилось.

Бабушка моя, тихая, милая, глубоко верующая не могла решиться с родителями-атеистами-комсомольцами идти в ссору и крестить внука, но и без крещения по вере своей не могла оставить его нехристом. Крестила меня моя Бабаня, тайно, в восьмимесячном возрасте. При крещении возникла очень забавная оказия, каким-то образом мне удалось ухватить за бороду батюшку-попа. Видимо я дюже осерчал, что мне не делали водной купели, а так небрежно побрызгали водицей, ну вот и решил потрепать попа за бороду – до носа, наверное, не мог дотянуться. Имя мне нарекли Георгий, а на реплику Бабани, что родители кличут младенца Юрием, поп гневно ответил, что такого имени нет, а есть Георгий! Да и поп на меня осерчал и сказал моей Бабане, что жизнь у меня будет разбойная, варначья и порядочного из меня ничего не выйдет. Тайное стало явным, и мои родители схлопотали по выговору от райкома комсомола, на том и завершилась эпопея моего крещения.

Столицу Семиреченского Войска Казачьего город Верный переименовали в Алма-Ату и сделали столицей Казахстана, а мои родители по призыву комсомола, превращали степном Казахстан в «цветущий сад».

1934-й год. Ослепительная яркая картинка в памяти. Белые, сверкающие пики гор, сочная зеленая трава. Я сижу в зембеле. Зембель за ручки несут двое самых-самых любимых – Папа и Мама. Мне Хорошо! Мне весело! И я пою? Мне сейчас пятьдесят пять, Маме семьдесят семь, я рассказываю ей это и спрашиваю – а было ли это? А она говорит, что помнить я этого не могу, так как меня годовалого увезли из Казахстана, это кто-то мне рассказывал, но мне этого никто не рассказывал, нет! Я просто помню это!

– Мама, так было ли это?... – настаиваю я.

– Наверное, было, мы ходили на базар в Алма-Ату и тебя таскали в зембеле, ты был тяжелый. Мы сажали тебя в кошелку и несли, раскачивая, тебе это очень нравилось, и ты визжал от восторга...

1935-36-е гг. Мама рассказывала. Ехали мы из Москвы. Ночью я вылез из-под опеки Мамы и стал шастать по вагону. Где-то поднял с пола бумажник и сел возле Мамы играть, а бумажник был набит крупными купюрами. Мама проснулась, увидела меня, сидящего на полу и засыпанного деньгами. Ахнула и давай собирать и засовывать бумажки в бумажник. Документов там было, только деньги. Собрала и позвала проводника, указала на меня: «Нашел...» Пересчитали деньги. Сорок две тысячи. Просидели до утра. Утром проводница объявила о находке. Откликнулся один, небритый, опухший от пьянки вербовщик, ехал вербовать рабочих. Описал бумажник, назвал сумму, и, не поблагодарив никого, сунул деньги в карман. А мне даже конфетку не купил, хотя проводница ему прямо сказала и показала на меня, но он даже не посмотрел в мою сторону! Моя Мамулька всю жизнь сожалела, что отдала этому хаму мою находку!

– Если бы знала, что это такая неблагодарная харя, никогда, никогда, никогда не отдала бы ему «твои деньги»!

Не всегда, значит, честный поступок вызывает приятность в памяти.

1935-36-е гг. Может быть даже 37-38-е годы.

Скоро Рождество. Какими были в детстве праздники? Странно, но я не помню праздники, проведенные с родителями, хотя хорошо помню праздники с Бабаней. Как-то по весне гуляли с Папой в сквере. У Папы в карманах камни. Папа оглядывается, нет никого. Он достает из кармана камень и кидает его в окно церкви. Окна забраны фигурными решетками, а стекла цветные. Камни, брошенные Папой, разбивают стекла, некоторые камни попадают в переплеты решеток и отскакивают. Вокруг нет ни души. Церковь окружена деревьями и, перекидав все камни, мы, вдвоем с Папой, собираем осколки стекол. Помогая собирать разноцветные куски, я готов визжать от восторга, от разноцветия голубых, желтых, зеленых, красных стеклышек, от радости чего-то неизвестного. Дома Папа толчет стекла на мелкую крошку и посыпает крошкой обмазанную клеем картонную звезду. Звезда сияет всеми цветами радуги, переливается, искрится. Завтра Папа понесет меня на своих плечах на Первомайскую демонстрацию, а я буду держать над головой самую красивую звезду. Из остатков крошки Папа изготовил калейдоскоп, и он был у нас очень долго, до самой войны.

Те же годы. Милая моя Бабаня взяла меня с собой в церковь. Наверное, был Пасхальный день. Сияло солнце, было тепло, тянулся колокольный звон. Люди были все веселые, и все было так мило, радостно, торжественно. Церковь внутри сияла огнями свечей, ярко горели ризы икон. Одеания священников, синеватый дымок благовоний, торжественное пение хора – все, все, все поднимало настроение! А мне запомнилось почему-то кладбище (наверное, у Казанской церкви) и склеп, сложенный из красного кирпича, покрытый железом, массивные железные двери, закрытые на замок. Над склепом стоял ангел с крестом. Меня это больше всего поразило. Чугунный ангел и огромный узорчатый замок на двери. А за дверью, по словам Бабушки, стояли гробы с покойниками богатой семьи. Не мог я никак вразуметь, почему всех покойников закапывают в землю, а эти закрыты на замок, почему? Бабаня толковала мне, толковала, да все не могла объяснить, или я своим детским умишком не мог понять? Дедушка Ленин лежит, и его охраняют бойцы с ружьями, а тут замок. Ну почему не поставить бойцов с ружьями вместо замка? Вот было бы интересно посмотреть на бойцов под ангелом с крестом.

Какое-то время мы жили в Средней Ахтубе. Мама и Папа преподавали в агрометеорологической школе, директором которой был Николай Трофимович Гринин. У Грининых было двое мальчишек-погодок, близкого мне возраста. Помню, играли. Я снимал панамку (тогда все дети носили панамки), насыпал в нее песок и пыль с дороги, и бросал вверх. Панамка падала и от удара об землю выбрасывала облачко пыли. В общем, для нас это были бомбы с аэроплана. Однажды такая бомба упала на голову одного из маленьких Грининых. Я не помню их имен. В общем «взрыв бомбы» засыпал глаза. Слезы, крик. Брат увел с поля боя раненого в дом. Мать промыла сыну глаза, успокоила, и мальчишки снова пришли играть ко мне на улицу, ни какой паники! Редкая Мать отпустила бы свое дитячко тот же час!

Суббота. Идет мокрый снег. Пасмурно и светло. Серое небо и белая чистая земля. С грустью и улыбкой вспоминаю наш дом: высокое крыльцо, чистый, твердо убитый земляной пол – это сени, потолка нет. Поперек две балки, увешанные всякой всячиной: ременные вожжи, связки сухих яблок, ламповые стекла, веники. А высоко-высоко под крышей, между стропилами, заткнуто ружье. Настоящее – черный ствол, золотистый приклад. Я гляжу во все глаза. Мне так хочется подержать ружье в руках. Я тянусь ручонками к нему:

- Дайте, дайте, – говорит все мое маленькое тельце. Но слышу грубый голос:
- Нельзя, мал еще!

Меня обжигает обида! Горячая, резкая, как удар, обида. Я еще не знаю, что буду большим. Весь мой мир – это я и окружающие меня Папа, Мама, Дяди и Тети. Я закусил губу. До крови закусил. Из глаз потекли слезы, молчаливые и обидные, горячие и злые. Это была моя самая первая обида, насколько я помню, потом были и другие, но это была самая первая!

- Мама, где это было и когда?
- Не знаю, мы тогда жили или в Фастово, или в Манкенте, тебе было годика три-четыре.

1936-й год. А я люблю лягушек. Я часами сижу у лужи и смотрю в ее зацветшую воду. Горячая земля, ласковое солнце, и теплая, теплая вода. А в зеленоватой воде плавают и мечутся дирижаблики-головастики. Лежат на дне на грязи и маленькие и большие. Потом появляются лягушата – маленькие с хвостиками. Я ловлю их и сажаю за пазуху под майку. Они такие забавные и холодные, ворочаются, копошатся у меня на животе, щекотно и смешно. Я хохочу, а большие тети ругаются: «Фу, какая гадость!...» Ну какая же это гадость? Такие веселые и шустрые холодные, когда на дворе такая жара. Я до сих пор люблю лягушек. Пусть их не любят другие!

Детский Сад. Катался на заднице с деревянной горки. В попу влезла огромная заноза-щепка. Боль ужасная, слезы сами текут ручьем, но я, стиснув зубы, молчу. Воспитательница вытаскивает занозу, а я молчу, больно, но молчу.

Убежал из садика домой. Шел и захотел какать. Штаны снять не сумел. Стою под деревом и плачу. Люди идут и не обращают на меня внимания. Мне и стыдно и неприятно – идти не могу. «...Бедное дитя, как же тебя мама-то бросила?...» – догадалась какая-то тетя. Завела домой к себе, подмыла, штаны и трусы постирала, покормила и пока одежда сохла, я уснул на диване. Потом тетя отвела меня домой. Получил нагоняй от Мама, а мне весело. У меня есть хорошая знакомая Тетя.

Когда-то давно, я еще и в школу не ходил, мальчишки с улицы научили меня песенке, в общем-то, безобидной: «...Укусила Жучку Собачка, за больное место, за срачку. Стала Жучка пикать и плакать. Как я буду сикать и какать?...» Я исполнил этот куплет перед своим семейством и ожидал похвалы, но получил от Мама вздрючку. Рано еще было собирать уличный фольклор.

У меня очень мало воспоминаний детства связанных с родителями. Воспитывала нас Бабаня, а Отец и Мать были вечно заняты на работе в разъездах по командировкам по Сталинградской области. Дома они бывали редко и мало уделяли нам внимания. Я даже читать научился не по букварю, а по «Закону Божьему» для начальных школ, дореволюционного издания, сохранившемуся у Бабани. Воспитывала меня и улица. Спасибо ей за это, спасибо Родителям за свободу. Стал я тем, кем стал! Но выжил я в тяжкие годы войны благодаря улице. Она дала мне стойкость.

Играем в войну. У всех участников «сражений» имена героев Гражданской Войны. Кто постарше – тот Чапаев, Щорс, Котовский, есть и Петька, и Анка-пулеметчица. У малышни и слабаков Махно, Петлюра, Юденич. Мне по жребии дают имя «Колчак». Так уж выпало – обидно до слез. Я не хочу быть Колчаком, я не хочу играть в войну под этим именем! «Не буду!» Насупился, набычился, надул губы. А мне:

- Не хочешь – иди отсюда!
- Не пойду и играть не буду! – отвечаю я.
- Ну и не играй! А Колчак все равно будешь! И навсегда, раз ты такой противный...
- Ну и пусть...

Так я и остался Колчаком. В разные дни имена меняли по жребии по очереди. Так как уличные клички были практически у всех, то и мне с тех пор прилипла кликуха «Колчак». Раньше я был просто Юраш и Юраш, а из-за своего упрямства стал Колчаком. Сам виноват! Эта кличка продержалась до начала войны. В войну обрел кликуху «Серый». В ремеслу кликуха была «Гений». Позже, когда стал собирать монеты, значки и марки – прозвали «Философ» – «Силосов» – «Силос» – окончательное. От кликух освободился только в Армии. Но самая первая – «Колчак», мне была ненавистна и особенно противна, но вида я не подавал и смиренно откликался на нее.

Мы, самые маленькие, играем в нашем подвале. Это пустырь, на пустыре яма, обложенная красным кирпичом с перегородками. Сам дом сгорел давно, подвал остался. Жильцы близлежащих домов сваливают с сюда мусор, дохлых кошек. Кошек мы хороним в дальней комнате, там у нас кладбище. В передней играем. Изредка появляется женщина со страшными

глазами. Она прижимает к груди всевозможные бумажки, которые собирает на улице и бормочет: «Деньги, мои деньги...» Мы боимся ее и убегаем. Бабаня говорит, что она убогонькая, бог лишил ее разума за грехи. Молодые говорят короче – дурочка. Старшие мальчишки подкрадываются сзади и, изловчившись, выбивают у нее из рук груды бумажек. Ветер разносит их, но она не замечает этого и продолжает собирать новые, бормоча при этом «деньги, деньги, мои деньги». Однажды в нашем подвале обвалилась часть стены, и среди мокрых кирпичей обнаружился литой чугунный кувшин с красивым узором из цветов и листьев. С ручкой и крышкой. От удара при падении крышка открылась и из кувшина вытекла струя золотых монет. Обычно мы целыми днями играем одни, а тут оказались в толпе взрослых. Давка, крики, ругань. Я от страха в суматохе сунул одну денежку в рот. То ли я ее потерял, то ли я ее проглотил. Рассказал об этом Бабане, она меня дня три-четыре не выпускала на улицу, и я сидел на горшке. Нашла ли она эту монетку, я не знаю. Мы потом долго играли этим кувшином, внутри он был обклеен зеленым бархатом.

Солнце только встает. Асфальт блестит умытый утренними поливальщиками. Я бегу, чтобы первым успеть к яме на задворках кинотеатра, туда после сеанса уборщицы выбрасывают мусор. Самое важное успеть первому. Ах, как восхитительно пахнут обрывки кинолент, это такое богатство в мальчишеской среде! Набрал много обрывков и склеек – есть чем меняться с ребятами, еще нашел красненькую с портретом Ленина, тридцатка! Хвастаюсь маме:

– Смотри, Мама, какую я денежку нашел!

– Молодец, только зачем она тебе? Давай меняться? Я тебе дам с летчиком, ты же любишь аэропланы...

Я в восторге. Так я разменялся с Мамой 30 рублей на 5 рублей. Потом еще раз поменялся на бойца с винтовкой, т.е. на трешницу, потом и эту отдал, я тогда был еще неграмотным.

Летом 1938-го года еду к тете Маруси в гости на лето. Ветка тупиковая, дальше Урюпинска линии нет. Не доезжая до города, тетя Маня подсаживает меня к окну и говорит: «Смотри, тут было крушение поезда...» Вижу лежащие под откосом искореженные остовы вагонов. Грохнулся пассажирский, было много жертв.

Тетя Маня живет на первом этаже. Дом старинный, низы из кирпича, а верх рубленый – деревянный. На втором этаже живет девчонка, она выходит на балкон и дразнит меня. Я отвечаю ей тоже дразнилкой. Она злится и, схватив полено, бросает в меня, да так удачно, что мне прямо по голове, я в рев. Нет, не от боли, боли-то нет, а от обиды. Тетя Маня дает мне конфетку, и я успокаиваюсь.

Копаемся за сараем в земле. Из-под стены выкапываем чугунную плошку, а в плошке туго связанная пачка денег с портретом Петра Первого. Делим между собой купюры, между дворовой детворой, а плошку тетя Маня забирает домой. Плошка хорошая, внутри облитая голубой эмалью, и крышка закрывается плотно, она тоже эмалированная. Долго она была у нас, до самой войны. Бабаня в ней тушила мясо.

В соседнем дворе под крыльцом сука оценилась. Здоровая и злая дворняга. Щенков не показывает и рычит на всех. Куда-то ушла, а меня дворовые ребяташки подбивают произвести выемку щенков. Я залез под крыльцо и по одному доставал, подавал их ребятам, потом вылез сам, а мне кутенка не досталось, я в рев – где мой кутенок? Но тут вернулась мама щенков и подняла страшный вой и лай. Ребятя щенков побросали и в бега. Сучка стала собирать свое потомство и затаскивать в логово. Если бы она захватила меня под крыльцом с ее кутятами, наверное, порвала бы меня.

С одним мальчиком убегаем со двора. Он меня ведет на «балласт» – так в Урюпинске называют песчаный карьер. Песок грузят на железнодорожные платформы и увозят. Мы сидим наверху карьера и смотрим – там внизу бегают маленькие паровозики и суетятся люди, как муравьи. Я тогда нашел «чертов палец», еще не зная, что он так называется. Лето, жара, пахнет мазутом и горелым углем. Я часто убегал, не слушался Тетю, и Тетя решила отправить меня

домой к Бабане. Когда мы ехали поездом в Сталинград, с нами в купе ехал краснофлотец из отпуска. Он мне подарил звезду с бескозырки – мальчишеское счастье!

Мне в Урюпинске было запрещено ходить на р. Хопер одному, без тети Мани. Жара, песок. Кавалеристы купают коней. Лошади большие, блестящие, фыркают, ржут, кавалеристы весело гогочут. Эх, хорошо! Как хочется подойти и погладить боевого коня, но боюсь и стесняюсь, потом все-таки подошел поближе. Стою, засунув палец в нос.

– Эй, дядя, смотри, палец сломаешь. – Это они мне. Отрицательно качаю головой:

– Нее...

– Покататься хочешь?

Я онемел от неожиданности.

– Что молчишь? Боишься?

– Не боюсь, хочу!

Дядя кавалерист хватает меня и сажает на круп коня, конь поворачивает голову и смотрит на меня фиолетовым глазом, потом медленно, медленно идет в воду. Дядя с поводьями в руках идет рядом. Конь зашел в воду, фыркнул и поплыл, сделав круг, выходит на берег. Дяденька ссаживает меня и, дав легкий шлепок по попке, подталкивает к тете Мане. Я счастлив до безумия, рот до ушей, глаза сияют. Не могу вымолвить ни слова. Мария Петровна Николаева, моя тетя, была замужем за командиром-конником, он трагически погиб, как – не знаю, вроде случайный выстрел. В Урюпинске было какое-то военное кавучилище, там и служил муж моей тети. Марию Петровну курсанты знали, поэтому и ее племянника катали на боевых конях. (Мне так кажется, что других мальчишек не катали, я такого что-то не припоминаю.)

Как-то Тетя Маруся вывела меня на прогулку, гуляем в саду. Где этот сад я не могу вспомнить, то ли в пойме Царицы, то ли это Лапшин Сад, а может в Урюпинске или в Средней Ахтубе. Собственно неважно где. Яблони усыпаны плодами, люди собирают плоды и грузят их на подводы. Жаркий звенящий день осени. И вдруг резкий порыв холодного ветра. Черная туча. Короткий злой ливень. Небо исполосовано молниями. Оглушительный грохот грозовых раскатов. Мне страшно. Я уткнулся в колени Тети, она накрыла меня юбкой, а мне все равно страшно. Трясусь всем своим маленьким тельцем. Гроза также неожиданно прошла, как и началась. Идем домой, неся в руках обувь и шлепая босыми ногами по искрящимся лужам.

Туча мальчишек. И все мы бежим, бежим, бежим. Я самый маленький, бегу позади всех. Добежал. Стена детворы. Протискиваюсь, пролазию между ног. И вот я впереди. Передо мной аэроплан, он только что сел. Два дяденьки-летчика в меховых одеждах в шлемах с очками – или ранняя весна или поздняя осень. Я закутан и обвязан шарфом. Пилоты что-то делают, я от восторга увиденным сосу палец, широко распахнув глазенки, а дяденьки, покуривая, разговаривают, не обращая на нас внимания. Вдруг один из пилотов подходит к нам, останавливается прямо против меня, присаживается на корточки и спрашивает меня:

– Будешь летчиком?

– Да, я буду летчиком! – отвечаю я твердо и уверенно.

– Не боишься?

– Нет, я храбрый.

– Молодец!

Он берет меня по мышке, точь-в-точь, как мой папа, и, сделав пару шагов, сажает меня в кабину на пилотское сидение. Надо мной далеко-далеко небо, улыбающееся лицо летчика, напротив меня приборная доска и штурвал.

– Ну вот, теперь ты настоящий летчик полетишь с нами?

– Да, я теперь летчик и полечу с вами! Только Маме надо сказать, а то заругается.

– Ладно, полетишь с нами в другой раз, когда мы прилетим еще, лады?

– Лады.

Он поднимает меня, ставит на землю и говорит:

– Беги к Маме домой...

И я бегу! Стена детворы расступается, и меня провожают десятки завистливых ребяческих глаз. Как мало надо для детского счастья, минута в кабине самолета и ты... Вбегаю в дом:

– Мама, Мама! Я на ероплане катался, дядя летчик сказал, что я настоящий летчик и завтра полечу с ними...

– И когда, и где врать научился? – говорит мне Мама с сердцем и раздражением.

Меня обжигает обида:

– Я не вру, не вру, не вру... – Плачу навзрыд, плачь переходит в истерику. Бабаня с трудом успокаивает меня. А к вечеру вся улица говорит, как Юрку на ероплане катали. Мама говорит мне:

– Прости сын... – и я снова счастлив.

Летчики так больше и не прилетали, но я долго ходил на место моего короткого счастья и все ждал и ждал их.

Летчиком я не стал, хотя пришлось малость поработать в 231-м и 5-м авиаотрядах СКТУ и ДВТУ ГВФ. А в памяти так и остались эти самые счастливые минуты детства. И хотя я работал техником ОСИ, но в кабины пилотов все же приходилось заглядывать, хотя я и не имел на то права!

Я часто гулял за городом в степи, а степь начиналась за окнами Бабаниного дома. Домик стоял окнами в бескрайность мальчишеского взора. Там, в этой бескрайности была таинственная неизвестность, и в жарком переливающимся мареве можно было увидеть ВСЕ! В степи я и нашел винтовочную гильзу и огромную медную гайку. Гильзу положил в карман, а гайку несу в руке. Она такая большая, что не помещается в ладошке, тяжелая золотистая и очень, очень красивая. Я долго дружил с этой гайкой и почему-то думал, что она от подводной лодки. Я и сейчас ее помню и ощущаю ее тяжесть, ее тепло. Я даже спал с ней. А гильзу я потерял тогда же и без жалости. Я бы и не вспомнил о гильзе, если бы не и нашел их вместе.

Мы с приятелем частенько убегаем из детсада, но степь нас уже мало привлекает. Мы нашли другое место, более интересное – на кладбище за тюрьмой! Видно как по мосту через Царицу идут поезда и грузовые, и пассажирские, можно увидеть, как рабочие проезжают на дрезине и пробегают маневровые «кукушки». Мы сидим на могилке с кованым ажурным крестом и наблюдаем, как учатся красноармейцы, у бойцов очень красивая форма. Ах, как хочется прикоснуться к ружью! Однажды мне улыбнулось счастье. Бойцы разбежались и попрятались за могилки, и один из них укрылся за нашей могилкой. Он дал нам погладить приклад и даже разрешил подергать за затвор. Бойцы построились и ушли, а мы сидим и смотрим на железнодорожный мост – кто угадает какой пойдет поезд.

Я, по-моему, еще не ходил в школу, а Папа взял меня с собой. Едем на бричке-одноконке, Папа понукает лошадь, чмокая губами, я всю дорогу пытаюсь научиться, подражая Папе – не получается, не научился! Приехали на плантацию. Растут всякие овощи. Заведующий угощает нас. Нарезали огромное блюдо помидоров с луком, чесноком и огурцами, полили маслом, посолили и сели прямо на траве. Папа из веточек нарезал вилки-рогалики. Я сижу вместе со взрослыми и ем из общего блюда. Ох, и вкуснотища же! Деревянной вилкой стараюсь подцепить аппетитный ломтик помидора. А хлебушек? Как у Бабани, на капустном листе домашних, ржаной, подовой, но... все-таки вкуснее, чем у Бабани. Вот и запомнилась эта поездка именно из-за вилки-веточки.

В далеком детстве был праздник, когда варили холодец. В каждой ножке была косточка-альчик, а это было огромное богатство в нашем мире. Сейчас игра в альцы забыта. Правила этой игры я уже не помню. Мы играли в альчики целыми днями, и у каждого было в запасе дома несколько десятков альцов на игру. Зимой играли в казанки-бабки. Взрослые парни играли на деньги, мы же, малышня, играли на альчики или на казанки, стараясь выиграть у противника его запасы. Это богатство переходило из рук в руки, но мы знали свои и старались отыграть

в первую очередь свои, если шла удача. Мне до сих пор непонятно, каким образом из десятков косточек, мы узнавали свои, проигранные когда-то в прежних играх. Альчик подбрасывали вверх двумя пальцами, создавая кручение в воздухе. Альчик падал на ровную, мягкую песчаную площадку и в зависимости от его положения набирались очки. Чика и чек, рыка и рез, буза и баз. В казанки играть было проще, нужен был меткий бросок. Казанки устанавливались в ряд на десять-пятнадцать шагов и битой-казанкой, залитой свинцом, старались выбить казанки из ряда партнера.

Мои партнеры по казанкам и альчикам уже ушли из этой жизни и спят вечным сном, обретя покой. Я пережил всех, а для какой цели меня хранит судьба – не знаю! В меня стреляли Русские и Немцы, на мою голову сыпали снаряды, мины, бомбы и те и другие. Меня били торговки на базарах, били милиционеры, били почти каждый день и били за то, что я хотел есть, а есть хотелось постоянно, и на яву и во сне! Страшное чувство голода и мечта наестся досыта хоть раз и умереть! Кто сможет понять весь ужас нашего военного детства, не имея нашего пережитого опыта? Ну-ка попробуйте пережить: вдохнув фонтанчик пыли у носа от пули, выпущенной в тебя с вышки нашим Советским солдатом, ты ползешь к колючей проволоке за куском хлеба. И тебе этот кусок бросают военнопленные Немцы из-за ограды лагеря. Правда, смешно сейчас слышать об этом? Да? Но это было, было! И этого из памяти не убрать никогда!

Дело было зимой. На санках катался целый день. Легкий морозец, солнце. Деревья все опушены инеем – белые, лохматые. Все сверкает, даже на ресницах блестки. Ну, я и мотался с ребятней на извозе – с обрыва на берегу. Варежки мокрые, парят, и не заметил, как перемерз, морозец-то закрепчал. Мокрые варежки задубели, веревка-поводок от санок стала как кол, не гнется. Домой, домой! А рук уже не чувствую. Еле-еле добрался до дома. Ввалился, а раздеться уже не могу. Бабаля срезала пуговицы, сняли с меня задубелую одежду, руки сунули в холодную воду и стала оттирать. Боль страшная, аж сердце заходит, ору диким голосом. Мало-помалу отошел, а дома забили поросенка. Бабушка напекла пирогов с ливером, горячие ароматные – вкуснятина, ух! А взять в руки не могу, руки распухли. Так и ем, как чушка, прямо носом с тарелки; откушу, а Бабаля подвигает кусок пирога к краю тарелки, так и доел. Бокал горячего чая держу двумя запястьями. Руки остались целы, а мог бы и калеккой остаться, повреди мне еще с полчасика на катании. В другой раз отморозил ухо. Было тепло, шел мокрый снег, мне в левое ухо снега и набило, а я и не почувствовал. Наутро ухо висело до плеча, и было желто-прозрачное, налитое водой и огромное. Бабаля мазала мне ухо гусиным жиром. Ухо осталось цело, а могло и отвалиться. После, когда опухоль сошла, ухо было покрыто черной коростой, и очень медленно эта корка сходила, а когда сошла, то ухо было нежно-розовым и совсем не терпело холода, ни малейшего. И мне пришлось ходить с опущенными ушами малахая.

В детстве я любил уединение. Помню, между сараем и уборной был прогал. В этом промежутке я сделал себе логово-шалаш. Нарубил на пустыре будыльев бурьяна, притащил из степи здоровый шар перекати-поля, и этот шар стал у меня дверью. В этом-то логове я иногда мог пролежать даже целый день и вытащить меня на обед был весьма проблематично. Жара и нет аппетита. Как-то Бабушка попросила папу сделать корытце для корма курей, мы держали до войны десять-пятнадцать кур во главе с петухом. Отец долго строгал, пилил, стучал молотком, наконец, сделал. Бабушка вышла, посмотрела, осуждающе покачала головой: «Из этого корыта отару овец поить можно. Экую орясину сгондобил, ну право гроб для покойника...» Бабаля ушла в дом, а я вылез из своего шалаша, подошел к корыту, посмотрел на него, потом влез в корыто, снял штаны и насрал. Застегнул штанишки, привел себя порядок и с чувством исполненного долга удалился в свое убежище. Там, дома, Бабушка рассказала Маме про корыто, и они вдвоем допекли моего Отца его несуразным изделием, Отец психанул: «На вас никогда не угодишь, что не сделаешь – все не так, все плохо!» Схватил топор и вышел во двор

с намерением сокрушить свое изделие. Подошел к корыту и остолбенел, пораженный увиденным. Это переполнило его чашу терпения. Отшвырнув в сторону мою дверь-перекати-поле, схватил меня за ногу, выволок из моего убежища. Подтащив меня к корыту, ухватил за уши и стал носом окутать меня в мое собственное говно, свеженькое и тепленькое. Удивительно, но мне не было противно, не было больно, не было обидно – мне было смешно, я исходил от хохота, а он, мой Папа, все больше и больше свирепел. Чем бы это все кончилось, не знаю, но во двор выбежали все: Бабаня, Мама, Тетя Маруся и, конечно, Надька (сестра). Вой и визг были громкие, но вот меня отняли, обмыли, обласкали и закармливали лакомствами. Даже Надька подарила мне свою самую любимую куклу, правда потом она ее тихонько забрала. А я в куклы не играл и не особо расстроился! Пусть. А корыто так и осталось жить до самой войны. Бабушка в него сыпала корм курам.

Когда и почему мне дали кличку «Серый»? Не помню и не знаю. Я был злым и не давал себя в обиду. Старше, сильнее, для меня не имело значения. Я лез в драку, меня били, а я кусался, царапался, мог и куском кирпича погладить по темечку. Был случай, когда большие парни ради забавы стравили меня с более рослым и более сильным пацаном. Я бился с ним не на жизнь, а на смерть! Я весь измазался кровью из носа, измазал противника, но добился победы, противник отступил! Парни похвалили меня: «...Ну, прямо волчонок, вырастит – зверем будет, волком серым...» Может тогда прилипла ко мне эта кликуха? Ходил ли я тогда в школу? Не помню, может и ходил в первый класс? Может!

Перед самой войной, я вроде бы еще и в школу не ходил, у нас появилась женщина с двумя мальчиками. За лето слепили землянушку на откосе Царицы, а сами жили в квартирантах у дяди Толи Норвега. Подружиться мы еще не успели, но общались с этими мальчишками. Эти ребята, не в пример нам, были воспитанными и очень много знали – кто, где, когда и что. На вопрос, где Папа, Мама – односложно отвечали – мы сироты, живем с Бабушкой, но в других вопросах они были выше нас на целую голову. В 1940-м году я пошел в первый класс, а «Гора» (так кличали младшего из ребят) учился во втором, его брат Виктор учился в четвертом. Жили они очень бедно, Бабка их работала по людям. На производство ее не брали, хотя она была очень грамотной. Потом просочились слухи, что их родители враги народа и сидят в тюрьме, хотя я этому сейчас не верю, им бы не разрешили жить в Сталинграде. В общем, таинственность привязывала меня к ним больше, хотя другие их сторонились. Я набивался к ним в друзья, а они сторонились всех. Так мы и жили до войны. Потом призвали наших отцов, мы их проводили на фронт и как-то незаметно сравнивались по положению. Пришли Немцы. Где они перебивались грозные дни – не знаю. Наверное, в 44-м ребят забрали у Бабки в детдом, а сама Бабушка как-то быстро постарела, сторбилась. Жила очень трудно и умерла, наверно, в 1947—48-м г. Конечно, мы знали о Тимуре с командой и Мишке Квакине, но Тимур нас не привлекал и высмеивался нами как чистоплюй. Мы, дворовая ребятня, дрались, хулиганили, курили и воровали и Квакин, конечно, был из нашей компании. А вот Горкиной Бабке мы помогали, хотя себя Тимуровцами не считали. Носили ей воду, доставали уголь, помогали с дровами. Подкармливали ее и соседи. Жалели. Военное лихолетье сближало людей. Потом уже, после войны, как-то на ветке Камышин – Мичуринск я встретил в поезде Горку, он ехал в Сталинград (из детдома) в Ремесленное училище. Я в то время еще бегал по воле, т.е. воровал по поездкам. С Горкой мы встретились радостно, как родные. Я ему рассказал все о его Бабке и как мы всей дворовой кодлой помогали ей. В Камышине мы расстались, чтобы уже никогда не встретиться. При расставании Горка показал мне свой кулак: «Помнишь?» Да, я помню. На кулаке имя «Гора» обвито толстой синей змеей. Я помню. Это была моя работа. Весной 1943-го года я нажег резины и копотью замешенной на Горкиной моче, сделал ему наколку на тыльной стороне ладони. До сих пор, проезжая в городском транспорте, я смотрю на мужские кулаки, сжимающие поручни – а вдруг увижу синюю змею обвивающую имя «Гора». При

последней нашей встрече мне было 13 лет, Горке 14. Завтра мне исполнится 60, я стал еще на год старше. А где мои мальчишки войны?

Перед самой войной с Шуркой нашли в степи снаряд. Ржавый. Наверное, еще с Гражданской. Таскали его, таскали, думали, что с ним делать? Бросить жалко, уж больно вещь хорошая! Либо сами додумались, или кто надоумил – развели костер на пустыре, и закатали туда снаряд. Скомандовали: «Бежим!» – и побежали, а малышня наша – Женька, Ленька и Надька уселись у огня и подкладывают в костер щепки, палки, будыли; мы с Шуркой осипли от крика, сорвали голоса, нам страшно идти к костру, а детвора на нас ноль внимания и нам страшно за них. На счастье шел какой-то мужчина, раскидал и затоптал огонь, наш снаряд откатил в сторону и потом забрал его с собой, снаряд еще не успел нагреться.

Откуда на дороге столько гвоздей? Миня-Запупыня достал где-то огромный магнит, привязал его на веревочку и ходит по дороге, таская за собой на буксире. Пройдя метров сто, собирает с магнита гвозди – ржавые, горелые, а есть и прямо новые совсем. Так постепенно он обходит нашу улицу, собрав гвозди с нашей улице и рассортировав их, затем переходит на соседнюю улицу, но ребята ему не дали просто так собирать их гвозди. Отобрали магнит и прогнали, и пришлось Мине магнит выкупать, хотя он пытался их разжалобить. Плакал и говорил, что гвозди ему нужны для гроба – скоро его папаня помрет, и он будет делать ему домовину. Отец его лежал дома, худой и желтый, тяжело и нудно кашлял, сплевывая в таз. Осенью 1941-го года он помер, лежал на столе в белой рубашке и со свечкой в руках, а на лбу у него была лента с молитвой. Мы ходили гуртом посмотреть и попрощаться. С Миней ходили на рыбалку, поймали нет ничего, по паре тарашек. Шли домой, я что-то рассказывал Миньке. Повернул голову, а Миньки нет. Обернулся, а он отстал и жрет сырую рыбу, говорю ему удивленно:

– Минька, ты что? Сырую ешь?

– Ага, а то Мамка дома коту рыбу скормит, а мне жалко. Пусть кот мышей жрет, я же мышей есть не буду...

А мне рыбы коту не жалко, пусть лопает и мышей и рыбу. В другой раз мы рыбу домой не понесли. Пойманную рыбешку завернули в лопухи и обмазали грязью. Выкопали ямку, уложили туда рыбу и развели костер. Когда палки прогорели, мы угля разгребли и достали запеченную рыбку. Вкусенькая, нежненькая. Не помню, где я подсмотрел этот способ готовки, но научил Миньку. Жалко мне его было, что жрать сырую-то? Пусть ест печеную,

Недалеко от нас живут две старушки, их зовут монашками. Домик маленький, игрушечный, чистенький и весь в цветах, в уюте. Во дворе тоже цветник, засаженный невиданными мной растениями. Я приходил к ним в гости довольно часто, и хотя они все делали с молитвой, мне нравилось бывать у них. Пить душистый травяной чай и слушать их рассказы о растениях. Тогда я впервые узнал, что растения умеют разговаривать и умеют слушать, и хотя не верил в такое, но слушать было интересно, однажды они угостили меня диковиной штуковиной. Плодик побольше грецкого ореха, но чуть меньше мандарина красный, как помидор, и семечки, как у помидора, только мелкие. Вкусом – кисло-сладкий, особенный, незабываемый. Только раз в жизни мне пришлось скушать такую диковинку, и больше я не видел и не слышал о подобных фруктах. Сам плодик растет закрытый в остроконечную скорлупу. Хвостик, острые носики, шестигранная коробочка.

Лето. Белый горячий сыпучий песок, теплая вода. Папа, Мама, я, Папин приятель со своей тетей, все мы отдыхаем на реке. Мне надоела возня в лягушатнике на мелководье, и я хожу за двумя взрослыми парнями. Они с бреднем ходят вдоль берега, а на берег выбрасывают клочья тины, ракушки, разную дрянь и много мальков. Парни вытряхивают бредень на песок и снова идут в заброд. Мне жалко мальков, я собираю их и выпускаю в воду. Парням надоело это занятие они сели и закурили, я стою рядом. Подходит старик и, показывая пальцем, говорит:

– Забредите вон там, там яма.

Парни отмахиваются, им надоело, жара, лень. Подходит мой Папа и просит:

– Ребята, дайте бредешок, побалуемся.

– Возьмите, побродите...

– Рыба пополам?... – спрашивает Папа.

– Возьмите всю себе, а вот этому пацану – показывает на меня – самую большую...

И весело смеются. Папа берет бредень и с приятелем начинают бродить. И снова тина, ракушки, разная дрянь и мальки, я снова собираю мальков и отпускаю их в воду. Снова подходит старик и снова показывает, где надо бродить. Папа с дяденькой забредают в указанное место, там глубоко и дяденька тянет бредень вплавь. Дяденька и Папа переглядываются и быстро идут к берегу. В мотне бредня бьется огромная рыбина – золотистый сазан! Я визжу от восторга, сбегаются пляжники. Охают, ахают, хозяева бредня стоят, раскрыв рты. А я кричу:

– Моя рыба, моя рыба, она самая большая, моя большая рыба!

Наши укладывают сазана в зембель, рыбина заняла все пространство кошелки, голова и махалка торчат наружу. Вечером пир горой. Бабаня нажарила сазана и в жаровне лежат золотистые куски, источая аппетитный аромат. Две семьи не могут управиться с моей рыбиной. Это был первый удачным улов в моей жизни.

Какое было у меня 1-е сентября 1940-го года? Первый раз в первый класс. В школу меня провожала тетя Маня, родители были в командировке. Первый день запомнился курьезом, одна упитанная крупная девочка описалась в классе, не смела попроситься выйти. Я уже не помню своих первоклашек. Потому что провели мы вместе, всего только один лишь год. На второй год наш класс основательно разбавили беженцами, да и еще перевели в другую школу, соединив два класса. Во многих школах открылись военные госпитали и нас уплотнили, что делать война! Да, война страшная, жестокая и безжалостная! Когда пришел первый раз во второй класс, в школе не было обычной суеты и шума. В школе стояла напряженная и тревожная тишина. У многих отцы уже были призваны, а кое-кто уже получил похоронки. В общем, настроение было подавленное. В центральной газете на первой странице фотоснимок: убитый мальчик, а изо рта струйка крови. Мой Папа еще дома, но скоро и я буду провожать его на войну. Останусь один «мужчина» в семье. Курить я уже умею, оденусь в немецкие обноски, завшивлюсь и научусь воровать. Второй класс сохранил как-то больше в памяти лица, но не имена. А из первого класса помню очень мало ребят – многие вскоре уехали в Сибирь и в деревни. Жить стало сразу труднее. А вот третий класс уже с годовалым перерывом и все чужие.

Война

Началась война. Казалось бы, такое событие должно оставить в памяти яркий немеркнущий след, но увы... тусклая, едва заметная полоска памяти. Утром, схватив по куску хлеба, убежали на Волгу. А Папа в этот день, еще затемно, уехал на огород окучивать картошку. Приехал часа в четыре вечера, поставил ведро вверх дном, сел на него, упер локти в колени, положил подбородок на ладони и сказал: «Ну, вот и все. Отжили свое...» Таким я и запомнил этот день, день начала войны: отец сидит на ведре посреди двора, у ног его лежит мотыга. Потом я увидел сон: с Папой иду по редколесью, кусты-деревья в рост человека и гроздь крылышек-семян на ветках. Папа в коричневом костюме-тройке. И вот Папа отдаляется от меня, я вижу расстегнутый пиджак, жилетку – все это закрывается туманом, все дальше и дальше уходит видение, лицо Отца... Лицо, фигура теряют очертания в дымке. Я кричу: «Папа, Папа!» А Папа тает, тает, тает. И тут кукушка прокуковала четыре раза: «Ку-Ку, Ку-Ку, Ку-Ку, Ку-Ку!...» Я проснулся. Сон яркий, цветной. Я помню его и сейчас, как будто только что проснулся. Я рассказал свой сон домашним, а соседка-гадалка сказала: «Отец будет жив и вернется домой через четыре года...» Так и произошло в яви.

21-го июня 1991-го года. Сегодня год как нет Отца. 13-го сентября 1941-го года я провожал его на фронт. На вокзале стоял Великий Плач! Голосили бабы, выли старухи, кричали дети. Такого я никогда больше не слышал в своей жизни и не видел! Но вот прозвенел последний удар станционного колокола, крик всколыхнулся, поднялся ввысь и забился вдоль тронувшегося состава. Эшелон, покачиваясь на рельсовых стыках, на стрелках, извиваясь на переходах, уходил в страшное неизвестное, в войну. Он увез наших родных, оставив нам надежду. Лето прошло, но было солнечно и жарко. Летела паутина, блестя на солнце серебряными нитями. Мы ловили ее и сматывали в бобины. Последние забавы из отнятого детства. Через год на нас выплут тон мин, снарядов, авиабомб. Наш город останется только на географических картах и в нашей памяти. Погибнут уехавшие на фронт, погибнут оставшиеся дома от случайных ран, перемрут от голода, от тифа. А мы, оставшиеся в живых, отупевшие и одичавшие, будем думать о куске хлеба, и ждать, и надеяться.

Август-сентябрь 1941-го. В степи разбился самолет У-2 – «Кукурузник». Он все крутился, крутился, всякие штучки-дрючки выпендюривая в воздухе, а потом клюнул носом и пошел к земле. Мы сразу бегом, аж дух захватывало, но, когда подбегали, там уже стоял милиционер и ни кого не подпускал близко. Потом приехали бойцы, подтащили мертвого летчика к разбитому самолету, прикрыли его брезентом. Оставили часового и уехали. Нам с Санькой очень нужен был пистолет. Мы все ползли и ползли к самолету, чтобы стащить пистолет у мертвого летчика. (А был ли у него пистолет?) Но боец нас заметил и, заорав дурным голосом, клацнул затвором и бахнул вверх. Мы вскочили и бросились бежать, но решили, как стемнеет попытаться снова, но увы... пришла машина, летчика погрузили, что-то еще кинули в кузов. Потом пришла еще машина. Механики повозились, повозились, перевернули самолет на колеса, прицепили его на буксир, погрузили обломки и уехали. На земле остались кусочки фанеры, целлюлоида, масляные лужицы и специфический запах самолета. Пистолет нам украсть не удалось.

Нас рассадили по разным партам. Мне в соседки досталась девчонка, причем самая красивая в классе. Эмма Кауфман, я запомнил ее из всех девчат второклассников. Нас ведь рассаживали к примерным с надеждой на искоренение хулиганства, причем самым оголтелым хулиганам доставались и самые примерные ученицы. Эмма не пыталась меня перевоспитывать нотациями, одергиванием, нет, она вела себя совершенно равнодушно к моим «героическим» выходкам. И, в общем-то, мы ладили без моралистики, просто она вела себя со мной как со своей подругой – неплохой подружкой, только не совсем умной, так с придурью малость. Так... В классе идет проверка на вшивость. Санитарный врач проверяет белье, я заглядываю

в свою рубашку и... О ужас! Ползет внутри огромная, с дворнягу, вошь! Я пытаюсь ее спихнуть вниз с полотна рубашки, но он упрямо ползет вверх, а врач от нас уже через парту. Эмма спрашивает:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.